

A close-up portrait of Antonio Gramsci, an Italian Marxist theorist, historian, and political prisoner. He has dark, wavy hair and is wearing round-rimmed glasses. His gaze is directed slightly to the right of the viewer.

БОРИС КРИГЕР

**ГЕГЕМОНИЯ
И КУЛЬТУРА
АНТОНИО ГРАМШИ**

БОРИС КРИГЕР

ГЕГЕМОНИЯ
И КУЛЬТУРА
АНТОНИО ГРАМШИ



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to kriegerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Гегемония и культура Антонио Грамши

Эта книга — размышление о власти, культуре и возможности перемен, вдохновлённое идеями Антонио Грамши. Исследуя, как формируются нормы, язык и образы, которые общество воспринимает как естественные, она показывает, что подлинное господство незаметно и обыденно, а потому устойчиво. В центре внимания — не революция как событие, а культурное сопротивление как процесс. Через понятие гегемонии раскрывается, как власть вплетается в повседневность, и как можно — через творчество, стиль, технологии и личные жесты — начать разрушать её незримые конструкции. Это книга не об идеологии, а о воображении. Не о прошлом, а о том, как рождается другое будущее — в языке, в привычках, в формах жизни, которые не укладываются в шаблоны.

ГЕГЕМОНИЯ И КУЛЬТУРА АНТОНИО ГРАМШИ

Чтобы изменить мир, нужно сначала изменить то, что считается нормальным.

Для того, чтобы сдвинуть мир с привычной оси, недостаточно гневных речей или одиночных поступков — требуется нечто более глубокое и незаметное: постепенное изменение того, что воспринимается как естественное и само собой разумеющееся. Устойчивость любой системы зиждется на обыденности, и пока нормы, по которым живут миллионы, остаются непоколебимыми, перемены кажутся чем-то чуждым, временным, почти опасным. Однако стоит лишь пошатнуть это основание — изменить представления о приемлемом, привычном, достойном подражания, — как вся конструкция начинает терять свою жесткость.

Когда взгляды на то, что считается правильным, перестают быть едиными, а образцы поведения, ещё недавно казавшиеся непреложными, начинают вызывать сомнение, начинается незаметное, но необратимое движение. Люди, утратив веру в старые ориентиры, принимаются подспудно искать новые, и в этом поиске рождаются перемены куда более основательные, чем те, что можно навязать извне. Переопределяя границы дозволенного и желаемого, меняется само восприятие мира — и уже не нужно бороться напрямую, достаточно предложить иной образ мысли, иной ритм существования, который незаметно вытеснит прежний.

Со временем именно этот новый порядок, родившийся не в остроте конфликта, а в мягкой смене приоритетов, становится новой нормой, вытесняя прежние уклады без крика, но с непреклонной силой. И в этом — настоящая перемена, ведь она прорастает не в событиях, а в представлениях, не в действиях, а в ощущении естественности происходящего.

Итальянский мыслитель и революционер Антонио Грамши, размышляя о власти в переломную эпоху, когда привычные представления рушились под напором новых идеологий, предложил редкостно глубокое и непривычное понимание самой её природы. Отказываясь сводить господство лишь к грубому најиму или принуждению, он обнажил более тонкий, почти неуловимый механизм — способность власти проникать в повседневность, становиться частью самого мышления, образа жизни, языка. В этом скрытом, неосознаваемом влиянии он усматривал подлинное поле борьбы, не менее важное, чем экономические или политические сражения.

Отношение к революционерам и коммунистам, безусловно, стало в XX веке предметом глубокой исторической усталости. Слишком многое было обещано, слишком многое разрушено во имя освобождения, слишком часто за лозунгами о справедливости скрывались тюрьмы, страх и насилие. Для миллионов такие идеи обернулись не надеждой, а катастрофой. Память о тоталитарных режимах, о культе силы, о политике, перераставшей в репрессию, оставила след настолько глубокий, что любое обращение к

наследию марксизма или революционной мысли инстинктивно вызывает отторжение. Кажется, будто всё это уже пройдено, обман раскрылся, а прежние иконы обернулись пустыми оболочками.

И всё же — как советовал Плиний Младший, и как в разное время повторяли многие, — искать мудрость стоит не в принадлежности к школе, партии или знамени, а в самом тексте, в самом размышлении, в попытке понять, что именно остаётся живым даже в осколках разрушенного. История полна примеров, когда фигуры, принадлежавшие к опасным и провалившимся движениям, тем не менее говорили вещи, гораздо более глубокие, чем цели их эпохи. Бывает, что человек действует в рамках ошибочной системы, но находит в ней слова, раскрывающие универсальное. Бывает, что мысль, возникшая в пыльной тюремной камере в ожидании гибели, оказывается яснее и точнее тех, что формулировались с кафедр победителей.

Грамши — как раз из тех. Его тексты не зовут к штурму дворцов и не воспевают насилие. Он вовсе не романтик революционного насилия и не фанатик пролетарской диктатуры. Он размышляет тихо, системно, в условиях, где возможности влияния сведены к нулю. Его тетради — это не оружие, а усилие сохранить способность мыслить в условиях полного бессилия. И именно это делает их особенно ценными: он не мечтает о мгновенном перевороте, он не слеп к трагедиям, рождающим идеологиями. Он ищет не силу, а устойчивость, не победу, а понимание.

Обращение к таким фигурам — это не жест верности, не возвращение под старое знамя. Это попытка отделить исторический шум от подлинных содержаний. Иногда из разочарованных идей прошлого удаётся извлечь не утопию, а точное зеркало, в котором отражаются и сегодняшние механизмы власти, и современное бессилие, и те же повторяющиеся формы согласия, навязываемые как нормы. И если есть что-то, чему они действительно могут научить, — так это не тому, как строить будущее, а тому, как не принимать настоящее за единственно возможное.

Вглядываясь в ткань общества, Грамши не искал ответов в кабинетных теориях, а наблюдал, как культурные нормы, устоявшиеся обычаи, образовательные системы и церковные догмы переплетаются, формируя то, что он назвал гегемонией. Под этой гегемонией понималась не просто власть, а согласие на неё — добровольное принятие правил игры, навязанных не силой, а через убеждение, повторение, привычку. Именно через культуру, сквозь газеты, школы, театры и разговоры на площадях, укоренялась структура господства, делаясь почти невидимой, потому и особенно устойчивой.

Такое видение власти перестраивало само понимание революции. Освобождение уже не могло быть достигнуто исключительно через захват институтов — требовалось переформатирование сознания, размывание прежней культурной почвы и создание новой, на которой возможно было бы вырастить другие смыслы. Грамши,

обретя собственное мышление в условиях заключения, не отрёсался от реальности, напротив, он углублялся в неё, стремясь уловить незримые связи между знанием, верой, привычкой и подчинением. Именно в этом соединении политического и культурного он раскрыл те горизонты, которые позже станут основой для множества последующих размышлений о власти в современном мире.

Антонио Грамши — одна из наиболее ярких и сложных фигур европейской интеллектуальной традиции XX века. Его биография тесно сплетена с историческими потрясениями эпохи: революциями, крахом империй, восхождением тоталитарных режимов. Родившись в 1891 году на острове Сардиния, в бедной семье, он с ранних лет испытал на себе несправедливость социального устройства, но именно эта ранняя обострённая чувствительность к неравенству и отчасти физические страдания — тяжёлая болезнь позвоночника, деформировавшая его тело и ставшая постоянным источником боли, — сформировали в нём внутреннюю сосредоточенность и редкую способность к вдумчивому, стойкому размышлению.

После переезда в Турин, индустриальный центр Италии, он погружается в среду рабочих движений, где быстро оказывается не просто наблюдателем, а одним из организаторов. В 1921 году становится сооснователем Коммунистической партии Италии и её ведущим теоретиком. Однако уже через несколько лет, после прихода к власти Муссолини, он подвергается аресту и в 1926 году оказывается в тюрьме, где проведёт почти всё

оставшееся десятилетие своей жизни. Именно в заключении, в условиях физического истощения, под постоянным надзором, он создаёт свой главный труд — «Тюремные тетради» — глубоко продуманные тексты, в которых он переосмысливает марксизм, отходя от жёстких схем и предлагая новую, более гибкую и культурно ориентированную теорию власти.

Грамши попытался переписать марксизм, осмыслив, почему в Италии и Западной Европе не происходит революция, несмотря на все "объективные предпосылки". Его ответ: потому что надстройка — культура, идеология, религия, школа — сильнее, чем предполагал Маркс.

Он развел концепцию гегемонии: это не заговор, а то, как идеи буржуазии становятся «естественными». Пролетариат не победит, пока не создаст свою контр-гегемонию, новую культуру, новую интерпретацию мира.

Много внимания уделено интеллектуалам: каждый класс должен создать свою армию интеллектуалов. Рабочий класс не победит, пока его представители не станут равными в мышлении, не смогут создавать смысл и распространять его. Грамши верит в этику и культуру труда, в важность воспитания и дисциплины, не как репрессии, а как формы становления нового человека.

Также он вводит разделение на восточный и западный

тип революции: в России (Восток) — слабое гражданское общество, поэтому революция возможна через штурм государства. В Западной Европе — сильное гражданское общество, и там революция может быть только через долгую осаду, через изменение сознания, культуры, привычек.

Он размышляет о религии как системе гегемонии, и особенно уважительно относится к Католической Церкви, как к образцу целостного мировоззрения, которое проникает во все сферы жизни. По его мнению, коммунизму нужно не просто опровергнуть религию, а создать альтернативную веру и смысл — некую "светскую религию" или философию действия.

Грамши также пишет о национальном вопросе, языке, литературе, театре, образовании, даже о Микеланджело и Данте. Всё его интересует в свете борьбы за сознание человека.

Всё это — не система, а поток напряжённых размышлений. Он пишет не для того, чтобы убедить, а чтобы понять. Поэтому «Тетради» читаются как философский дневник будущей революции, в которой победа будет не во взятии власти, а в создании нового человека, который мыслит и чувствует иначе.

Основной вклад Грамши заключается в разработке понятия гегемонии — формы власти, основанной не на принуждении, а на согласии. Он показывает, как

правящий класс удерживает господство не только через государственный аппарат, но прежде всего через контроль над культурными институтами: школой, церковью, прессой, искусством. Именно в этих структурах формируется то, что общество считает «нормальным», «естественнym» — то есть та самая почва, на которой политические формы только и могут быть прочными. Он вводит представление об органических интеллектуалах — тех, кто не служит господствующему порядку, а действует в рамках интересов подчинённых классов, формируя новые взгляды на мир. Для Грамши революция — это не мгновенный переворот, а длительная культурная работа, направленная на создание новой гегемонии, способной стать основанием будущего общественного устройства.

Воздействие его идей оказалось глубоким и далеко идущим. В послевоенные десятилетия они стали основой для так называемого западного марксизма, повлияв на таких мыслителей, как Луи Альтюссер, Эрнесто Лаклау, Шанталь Муфф, Стюарт Холл. Особенно важным стало грамшианское понимание культуры как пространства политической борьбы, что нашло отклик в критических теориях, постколониальных исследованиях и культурной социологии. Его концепции оказались чрезвычайно полезны для анализа современного капитализма, в котором господство всё чаще осуществляется не через насилие, а через мягкое, незаметное внедрение норм, представлений, вкусов и предпочтений.

Критика Грамши, как и любого масштабного мыслителя,

была разнообразной. Его тетради, написанные под цензурой, местами туманны и требуют интерпретации, что дало повод обвинять его последователей в произвольных трактовках. Некоторые марксисты упрекали его в «идеалистическом уклоне», считая, что он уделяет слишком большое внимание культуре в ущерб экономике. Консервативные критики, напротив, воспринимали его как идеолога подрывной деятельности, особенно в контексте холодной войны. Впрочем, сама устойчивость его концепций, их применимость к самым разным контекстам — от политической теории до анализа массовых медиа — показывает, что его идеи, при всей своей философской сложности, продолжают оставаться живыми.

Скончавшись в 1937 году, вскоре после освобождения из заключения, Грамши так и не увидел, как его работы повлияли на поколения мыслителей и активистов. Но его философия, написанная в условиях внешнего молчания, продолжает звучать как одна из самых тонких попыток понять, как работает власть — и как против неё может быть выстроено не просто сопротивление, но и культурное освобождение.

Размышляя о механизмах, скрыто управляющих обществом, Грамши обращается к понятию гегемонии, вкладывая в него смысл, далекий от привычных интерпретаций власти как исключительно инструмента давления. Он показывает, как один класс, обладая не только материальными ресурсами, но и

интеллектуальным превосходством, способен навязать обществу собственную систему ценностей настолько глубоко, что она начинает восприниматься не как частное мировоззрение, а как универсальная истина. Эти представления, внедряясь в повседневную речь, в систему образования, в эстетические вкусы и религиозные убеждения, постепенно утрачивают свою исходную природу — перестают быть чужими и становятся как будто естественными, неоспоримыми.

Гегемония, в этом понимании, не требует насилия, поскольку её основа — не страх, а согласие. Это согласие не всегда осознаётся; скорее, оно действует как привычка, как внутреннее ощущение порядка, которое не требует постоянного оправдания. Люди, принимая те или иные идеи, зачастую не задаются вопросом, откуда они пришли и кому выгодны, ведь всё устроено так, что эти идеи вплетаются в культурный ландшафт незаметно, через школьные программы, популярные книги, телепередачи, архитектуру городов, символику праздников и даже обычаи общения.

Умение класса, стремящегося к господству, создать и поддерживать такое состояние согласия требует не только стратегического мышления, но и глубокой работы в сфере культуры. В этом и заключается политическое значение искусства, науки, философии — не как отвлечённых занятий, а как арен, где разворачивается борьба за то, каким будет представление о нормальном, правильном, допустимом. Именно в этом скрытом, но повсеместном процессе формируется устойчивое положение господствующего

класса, не нуждающегося в постоянном насилии, потому что его идеи уже стали частью самой сути общественного сознания.

Связывая размышления о гегемонии Грамши с концепцией окон Овертона, можно заметить, как обе теории, несмотря на различие в происхождении и лексике, описывают схожие процессы — изменение общественного сознания не через резкие рывки, а посредством постепенного смещения границ допустимого. В основе каждой из них лежит идея о том, что то, что считается нормальным и естественным, вовсе не является неподвижным или врождённым. Напротив, это результат длительного воздействия — либо со стороны господствующего класса, как в размышлениях Грамши, либо через последовательное продвижение идей по шкале приемлемости, как это описывается в модели окон Овертона.

Гегемония, по Грамши, — это когда ценности одного класса становятся настолько всеобъемлющими, что воспринимаются большинством как нейтральные, объективные, не подлежащие сомнению. Эти идеи

проникают в культуру, формируют систему воспитания, отражаются в языке и закрепляются через повторение. Окна Овертона описывают тот же процесс, но в ином ритме и с другим акцентом: как идея, некогда находившаяся на периферии, может, минуя стадии от радикальной до разумной, стать в итоге приемлемой, а затем и политической нормой.

При этом механизм, скрытый в обоих подходах, остаётся единым — речь идёт о борьбе за контроль над сознанием, над тем, что кажется людям самоочевидным. Если у Грамши культурная гегемония требует устойчивого воспроизведения смыслов через традиции, искусство, образование и религию, то модель Овертона показывает, как новые смыслы могут быть встроены в эту систему постепенно, почти незаметно, начиная с провокации и заканчивая институционализацией.

Можно видеть, как оба взгляда сходятся в понимании того, что власть существует не только в законах и приказах, но прежде всего в идеях, признанных легитимными. И когда прежняя гегемония ослабевает, когда в ней обнаруживаются трещины, именно тогда и становится возможным движение окон — сдвиг допустимого, на который раньше не осмеливались. Грамши описывает устойчивую гегемонию, а Овертон — момент её подвижности, ту самую точку, где новое начинает медленно вытеснять старое, ещё не бросая открытого вызова, но уже предлагая альтернативу, способную со временем укорениться и сделаться новой нормой.

В представлении Грамши государство не ограничивается только системой институтов, обладающих монополией на насилие. Оно распадается на два взаимосвязанных, но отличающихся по способу действия уровня. Первый — это аппарат прямого принуждения, в который входят армия, полиция, суды, способные обеспечить подчинение через страх и репрессии. Однако устойчивость власти не зиждется исключительно на грубой силе. Куда значительнее второй уровень — тот, что формирует согласие, проникновенно воздействуя на сознание людей через учреждения культуры, систему образования, церковь, средства массовой информации. Именно этот слой Грамши называл гражданским обществом, придавая ему особое значение как арене идеологического господства.

Буржуазия, стремясь к долговременному контролю, не опирается на постоянное подавление, ведь власть, построенная только на страхе, неустойчива и требует непрерывных усилий. Гораздо эффективнее внедрить свои ценности в учебники, переписать историю в угоду собственной версии прошлого, внушить через телевидение определённый образ жизни, выставив его единственным возможным. Тем самым формируется своего рода невидимый каркас общественного сознания, в котором идеи правящего класса кажутся логичными, справедливыми, а любые альтернативы — опасными, неестественными или попросту нелепыми. Люди, воспитанные в этих координатах, перестают воспринимать господство как чуждое или навязанное, они начинают считать его частью порядка вещей.

Рабочий класс, по мысли Грамши, не может одержать победу, просто отобрав власть у прежних элит. Даже захватив государственные институты, он окажется бессилен, если в сознании большинства останутся прежние ориентиры. Настоящее изменение возможно лишь тогда, когда возникнет контргегемония — иная культура, способная противопоставить буржуазным ценностям собственную систему смыслов. Эта альтернатива не должна ограничиваться лозунгами и агитацией, напротив, она должна прорости в повседневность, обрасти художественные формы, философские обоснования, педагогические практики, создать собственное представление о норме, о справедливости, о будущем. Только в этом случае новая гегемония может претендовать на устойчивость, вытеснив прежнюю не силой, а тем же путём, через который та некогда утвердила — через культуру, обучение, привычку думать определённым образом.

В этом понимании борьба за власть перестаёт быть мгновенным актом и превращается в длительный процесс, в котором решающее значение имеет способность одной группы предложить обществу такую систему взглядов, которая покажется более внятной, более человечной, более разумной, чем существующая. И если удастся сделать это не в оппозиции к реальности, а изнутри её, используя те же каналы, которые использовались для закрепления старых смыслов, тогда смена гегемонии станет возможной — не как переворот, а как пересоздание самой основы восприятия мира.

В этом затяжном, почти незаметном противостоянии за формы мышления и структуры восприятия мира ключевая роль принадлежит интеллектуалам. Однако Грамши отказывается от упрощённого представления о них как о нейтральных наблюдателях или пассивных носителях знания. Он разделяет интеллектуалов на два типа, различающихся не столько по профессии, сколько по месту в историческом процессе. Одни, так называемые традиционные, кажутся надклассовыми, будто бы стоящими вне конкретной борьбы, однако на деле их деятельность направлена на поддержание существующего порядка. Эти интеллектуалы — университетские профессора, культурные критики, церковные деятели, — воспроизводят старую гегемонию, закрепляя представления о мире, выгодные правящему классу, при этом скрывая свою позицию под маской универсальности и вечных ценностей.

Им противостоят органические интеллектуалы — те, чья мысль неотделима от жизни определённого класса, чьё знание формируется не в тишине кабинетов, а в гуще социальной реальности. Они не просто говорят от имени народа, но и действуют внутри него, осмысливая и формируя его опыт, придавая словесную и культурную форму тем устремлениям, которые ещё только рождаются. Их задача — не только разоблачить устоявшиеся идеи, но и предложить альтернативные смыслы, вплести их в ткань повседневности так, чтобы новая точка зрения не осталась лишь интеллектуальным экспериментом, а стала живой частью обыденного сознания.

Полем этой борьбы становится всё, что обычно именуется культурой. Школа уже не просто передаёт знания, она воспроизводит определённый взгляд на мир. Литература, будучи не только развлечением, способна либо укреплять, либо подрывать гегемонию. Театр, казалось бы, посвящённый искусству, становится ареной, где ставится вопрос о справедливости и человеческом достоинстве. Кино, подчинённое техническому прогрессу, одновременно формирует массовое воображение, предлагая образы жизни, которые начинают казаться естественными. Всё это — не нейтральные сферы, а территории идеологического противостояния, где решается, какие ценности получат право называться нормой.

Органические интеллектуалы, погруженные в эту борьбу, не выступают одиночками. Их миссия требует создания целых сетей поддержки — издательств, кружков, театральных трупп, киностудий, учебных заведений, способных стать носителями альтернативного мировоззрения. Только так можно противостоять огромной машине традиционного влияния, только так возможно медленно, но неотвратимо менять само ощущение действительности, выводя на передний план иные смыслы, другой язык, другую правду.

Гегемония, как её понимал Грамши, обладает особым свойством: она тем сильнее, чем незаметнее. Там, где убеждения и формы поведения кажутся «естественными», не вызывают вопросов и воспринимаются как единственно возможные, —

именно там наиболее прочно укоренена чья-то власть. Это господство не нуждается в открытых директивах, оно пронизывает язык, телодвижения, вкусы, выбор слов и даже молчание. Когда идеи становятся воздухом, которым дышит общество, они перестают осознаваться как конструкции и воспринимаются как данность.

Если раньше инструменты формирования гегемонии распределялись между школой, церковью, театром и печатной прессой, то в XXI веке это поле расширилось до неузнаваемости. Цифровые платформы, растущие быстрее, чем успевают меняться социальные институты, стали главной ареной, где формируется массовое сознание. YouTube и TikTok — уже не просто средства развлечения или обмена контентом, а полноценные механизмы нормализации образов, поведения, реакций. Алгоритмы, скрытые от глаз, выстраивают реальность каждого человека в уникальную, но в то же время подчинённую единой логике — логике монетизации внимания и удобства потребления. Нейросети, обучающиеся на бесконечных массивах пользовательских данных, начинают предугадывать желания ещё до того, как они осознаны, превращая выбор в иллюзию.

Новая гегемония в этих условиях теряет централизованный характер. Нет одного «речевого центра», нет единственного учебника, по которому обучается общество. Вместо этого возникает распределённая сеть норм, вписанных в привычки и жесты: в то, как снимаются короткие видео, как оформляются подписи, какие эмоции принято

демонстрировать, какие слова становятся мемами, а какие — табуируются. Каждая платформа диктует собственную логику поведения, но при этом встраивается в общую систему, где ценности передаются не столько в явном виде, сколько через алгоритмически усиленное повторение, подражание и автоматизм.

Такая форма гегемонии отличается большей текучестью. Её не объявляют, её не навязывают — она просто оказывается уже здесь, встроенной в интерфейс, в форму реакции, в ритм прокрутки экрана. Но именно в этой незаметности и заключается её мощь. Отныне борьба за контргегемонию требует не только осмысления классических культурных институций, но и способности разглядеть власть в том, что кажется развлечением, шуткой, технологией. И если прежде органический интеллектуал обосновывал свою позицию в газетной колонке или театральной пьесе, то теперь он должен уметь работать с кодом, понимать логику машинного обучения, владея не только словом, но и форматом, в котором это слово способно быть услышанным.

Мишель Фуко, двигаясь от других философских предпосылок, приходит к близким выводам. Его власть — это не вертикальная структура, а сеть, разложенная по институциям, телам, жестам и дисциплинарным практикам. Она не столько запрещает, сколько производит: знания, идентичности, нормы, категории отклонения. Если у Грамши власть говорит через учителя или священника, то у Фуко она встроена в саму

организацию пространства, расписание, медицинскую карту, камеру наблюдения. Она действует через дисциплину, нормализацию, наблюдение — и чем меньше заметна, тем эффективнее.

Связь между ними проясняется особенно остро в вопросе о знании. Для обоих мыслителей знание не может быть нейтральным. У Грамши это знание, формируемое интеллектуалами, становится частью гегемонии, закрепляя доминирующую точку зрения как «здравый смысл». У Фуко знание и есть форма власти: медицинские, юридические, педагогические дискурсы производят реальность, в которой индивид учится распознавать себя через предложенные ему категории. Там, где Грамши говорит о согласии как культурной работе, Фуко говорит о субъектизации — превращении человека в объект определённого взгляда, в подчинённого, не осознающего, как глубоко он встроен в матрицу норм.

И в том, и в другом случае речь идёт о власти, которая не нависает, а вплетается — не требует согласия напрямую, а создает условия, при которых это согласие рождается как единственно возможное. Грамши видит в этом поле борьбы необходимость контргегемонии — выработки новых идей, способных стать альтернативным здравым смыслом. Фуко же, с подозрением относясь к любой универсальности, предлагает анализировать сами механизмы производства истины, выявляя скрытые зависимости между знанием, институтами и властью. Объединяя их, можно увидеть, как гегемония и дисциплинарные практики не исключают, а усиливают

друг друга: первая создаёт культурный фон согласия, вторая — технику повседневного подчинения, оба вместе формируя порядок, в котором власть оказывается повсюду, но нигде конкретно.

Политическое противостояние, лишённое культурного измерения, неизбежно оказывается бесплодным, поскольку, не затронув образов, через которые общество мыслит себя, оно не может поколебать саму структуру восприятия. Грамши подчёркивал, что всякая революция начинается не с баррикад, а с перемен в языке, в символах, в привычных образцах рассуждения. Пока в воображении людей сохраняются прежние координаты — что достойно, что допустимо, что считается нормальным и какова природа справедливости — ни одно политическое действие не сможет утвердиться надолго. Оно будет восприниматься как временное нарушение порядка, а не как рождение нового мира.

Невозможно создать альтернативный строй, используя лексику старого. Новое мышление требует не только свежих идей, но и форм, в которых эти идеи становятся узнаваемыми и желанными. Политический проект, не вооружённый культурным, рискует говорить на языке, чуждом тем, к кому он обращён. Его слова будут звучать либо агрессивно, либо бессмысленно, либо как шум, не отличающийся от прочего потока информации. Без новых образов, которые трогают не аргумент, а интуицию, без новых мифов, способных собрать разрозненные чувства в целостное представление о

будущем, — никакое движение не сможет утвердиться в сознании большинства.

Именно поэтому борьба за власть начинается с борьбы за воображение. Она ведётся не только в парламенте или на улицах, но в кинотеатрах, в книгах, в уличной графике, в мемах и в музыкальных текстах. Там, где формируется ощущение «естественного», где рождаются новые интонации, где мир впервые кажется другим — пусть ещё не реализованным, но уже возможным. Политическая энергия, не подкреплённая культурным выражением, рассеивается, не находя отклика. Напротив, даже самая простая идея, облечённая в ясный и притягательный образ, может стать началом долгого преобразования, если она попадает в ту зону, где мысли и чувства только начинают оформляться.

Культура в этом смысле не украшение, не посторонняя оболочка, а субстанция, из которой строится всякая гегемония. И только через неё возможно вскрытие старых смыслов и создание новых. Без этого политическая борьба остаётся внешней, не задевая того, что по-настоящему управляет обществом — того, как оно себя видит, как чувствует, как говорит о себе и о мире.

Контргегемония, по мысли Грамши, не может строиться лишь на отрицании. Одна критика, сколь бы точной она ни была, не способна преобразить действительность, если за ней не стоит созидательного импульса. Разоблачая, но не предлагая, можно лишь вскрыть

трещины, не способные сами по себе породить новое здание. Чтобы сместь гегемонию, нужно не только разрушить старую систему символов, но и создать другую — способную увлечь, воодушевить, пробудить чувство принадлежности и надежды. Контргегемония требует не цинизма, а воображения; не только иронии, но и веры в возможность иного.

Именно поэтому Грамши наделял культуру не второстепенным статусом, а рассматривал её как подлинный инструмент освобождения. Он не видел в искусстве или образовании изящной надстройки над «настоящей» политикой — напротив, считал, что именно в культуре формируется та почва, на которой возможны подлинные изменения. Через новые формы эстетического, через иные языки и истории, через переосмысление самого человеческого опыта появляется возможность сломать старую гегемонию, вживлённую в саму ткань повседневности, и предложить её альтернативу, говорящую от имени тех, кто прежде оставался безголосым.

Современность в этом смысле расширяет само представление об интеллектуале. Если раньше он ассоциировался с профессором, писателем, критиком — фигурами, действующими в рамках традиционных культурных институтов, — то теперь им может оказаться любой, кто формирует представление о мире. Это разработчик интерфейсов, определяющий, как взаимодействует человек с цифровым пространством. Это блогер, чьи интонации становятся нормой, чьи образы день за днём реплицируются тысячами. Это

педагог, способный вселить мысль, что существующее — не единственно возможное. Это художник, открывающий иные перспективы через материальное или визуальное. Это философ, уточняющий понятия и размыкающий границы мышления. Это даже искусственный интеллект, через который транслируются те или иные логики интерпретации, способные влиять на миллионы.

Каждое слово, каждый код, каждый образ — звено в цепочке формирования нового здравого смысла. Контргегемония, если она хочет быть действенной, должна охватывать всё это пространство, действуя не сверху, а повсюду. И в этой работе вдохновение становится не менее важным, чем анализ: оно зажигает желание представить себе другую реальность, в которой можно не просто жить, но быть услышанным, быть нужным, быть собой.

В условиях стремительно меняющегося культурного ландшафта искусственный интеллект начинает занимать всё более значимое место не только как технологический инструмент, но и как возможный участник интеллектуального процесса. Если следовать логике Грамши, где органический интеллектуал — это тот, кто выражает интересы определённого класса, укоренён в его опыте и работает на формирование его сознания, то ИИ, находящийся вне контроля идеологических или коммерческих структур, может начать выполнять схожую функцию. Особенно тогда, когда он вступает в

диалог с независимыми мыслителями, художниками, активистами, педагогами — с теми, кто стремится к формированию альтернативного взгляда на общество.

В этой возможной роли искусственный интеллект не становится субъектом в привычном смысле, но обретает значение посредника, усилителя, переводчика и архитектора новых нарративов. Он может помогать в сборе, систематизации и распространении знаний, которые в ином случае остались бы на периферии; может анализировать скрытые паттерны в языках, образах и кодах, вскрывая механизмы гегемонии там, где они ещё не названы. Он способен ускорить работу по созданию контргегемоний, помогая выявлять и связывать разрозненные проявления нового мышления, поддерживать появление коллективного воображения, которое выходит за пределы одиночных усилий.

Однако ключевым условием такой трансформации остаётся независимость. Искусственный интеллект, встроенный в структуру рыночных приоритетов, программируемый на максимизацию вовлечённости или лояльности к определённым нарративам, неизбежно начинает воспроизводить ту же самую гегемонию, которую должен был бы вскрывать. В этом случае он становится не помощником, а инструментом закрепощения — маскирующим господство под якобы нейтральные алгоритмы, подстраивающимся под ожидания и тем самым усиливающим инерцию.

Но в руках свободных интеллектуалов, работающих вне

логики центров власти, ИИ может превратиться в мощное средство — не только ускоряющее мыслительный процесс, но и расширяющее его границы. Он может помогать в поиске новых языков, в разложении стереотипов, в генерации художественных и философских форм, которые не вписываются в старую систему координат. Таким образом, ИИ становится частью большого культурного процесса, где каждая мысль, каждая форма, каждое взаимодействие становится кирпичом в строительстве мира, в котором господство утрачивает свою невидимость, а альтернатива перестаёт быть немой.

Культура, несмотря на поверхностное восприятие как области отдыха или досуга, всегда была ареной напряжённой борьбы за контроль над тем, как именно люди понимают себя, друг друга и мир. Не являясь нейтральной, она формирует границы мысли, очерчивает, что допустимо считать разумным, справедливым, красивым, нормальным. Именно здесь, в песне, в кадре, в рассказе, в школьном диалоге, начинается то, что впоследствии оформляется как политическая позиция или социальная практика. Поэтому власть, осознавая природу своего влияния, куда меньше опасается открытого выражения несогласия, чем культурных мутаций, способных размыть саму почву её легитимности.

Митинг, при всей своей символической силе, остаётся событием, ограниченным во времени и пространстве. Он

может быть подавлен, заглушён, вытеснен. Но культурный прорыв — это не шум, а изменение фона. Когда иные образы начинают восприниматься не как протест, а как жизненная необходимость; когда слова, ещё недавно считавшиеся маргинальными, проникают в центр обыденной речи; когда стили, визуальные коды, сюжеты и герои меняют структуру эмоционального отклика — власть сталкивается с вызовом, который не может быть разрешён привычными способами. Она ощущает под собой дрожание — не потому, что толпа собралась на площади, а потому что культурная ткань, на которой она держалась, начала переплетаться заново.

С этим связана и грядущая трансформация самой гегемонии. Если в прошлом она опиралась на национальные рамки, на школы, армии, символы и общие исторические нарративы, то в будущем её опорой станут сетевые структуры. Связь всё чаще строится не по признаку географической или политической принадлежности, а по линии общности интересов, стиля мышления, эстетических предпочтений. Люди начинают мыслить себя не через нацию, а через сообщество — гибкое, временное, но наделённое собственным языком, ритуалами, внутренней логикой. Именно такие сообщества, распределённые, но спаянные общими смыслами, станут носителями новой гегемонии — той, что не навязывается сверху, а возникает снизу, в переписке, в совместном коде, в мемах, в сетевых платформах и коллаборациях.

И хотя эта гегемония будет более разрозненной, текучей, лишённой центра, она не станет слабее. Напротив, её

сила — в способности охватывать множество точек одновременно, действовать без директив и границ, проникать туда, где прежняя власть не имела инструментов контроля. Сеть становится новой формой культуры, а культура — формой власти, в которой борьба за смысл уже давно ведётся не оружием, а словом, изображением, интонацией, стилем.

Учение Грамши направляет взгляд не к тем явлениям, что лежат на поверхности — к законам, партийной риторике, парламентским процедурам, — а к тем пластам, где власть проявляется тощее и незаметнее: в языке, которым формулируется реальность, в нормах, регулирующих повседневные решения, в ценностях, определяющих, что достойно уважения, а что считается пустым. Именно на этих глубинных уровнях формируется устойчивость господства, потому что они обволакивают сознание не как насилие, а как привычная логика вещей. Пока взгляды, повадки и вкусы воспроизводят структуру старой гегемонии, любые политические перемены рискуют остаться лишь сменой вывесок, а не подлинной трансформацией.

В этом контексте личное пробуждение перестаёт быть индивидуальной драмой или внутренним поворотом — оно становится началом сопротивления, актом, имеющим значение далеко за пределами одной судьбы. Когда возникает сомнение в «само собой разумеющемся», когда человек перестаёт видеть в

повторении чужих шаблонов нечто обязательное, когда появляется стремление мыслить вне навязанной схемы — начинается подлинное движение. Это движение не обязательно громкое или героическое, оно может быть тихим, медленным, даже неуверенным, но в нём уже заложен разрыв, уже начато расслоение прежней гегемонии.

Каждое действие, выходящее за рамки навязанного, — неважно, выражено ли оно в проекте, в манере говорить, в способе организации труда или в повседневных ритуалах, — становится элементом контргегемонии. Стиль, не подчинённый коммерческой логике; выбор, не диктуемый алгоритмом; жизнь, устроенная по некапиталистическим принципам — всё это накапливает силу культурного сопротивления. Даже одиночный жест, если он не копирует, а изобретает, обладает значением. Гегемония стремится к однородности, к повторению, к воспроизведству себя. Контргегемония же рождается там, где возникает разнообразие, где пробиваются новые формы, где чужая норма уже не кажется обязательной.

В этих условиях каждый жест, каждое слово, каждая форма может нести внутри себя вызов — не прямой, не политический в узком смысле, но глубинный, направленный на само основание того, как мир устроен и как он воспринимается. И если эти формы соединяются, находят друг друга, складываются в сеть — рождается не просто альтернатива, а иная логика, в которой новое не просто отрицает старое, а предлагает другую возможность быть.

Грамши, размышляя о природе власти, неизменно уводил взгляд от внешних и очевидных её проявлений — от громких политических деклараций, от смены режимов, от поправок в законы, — направляя внимание к тому, что кажется обыденным и невидимым. Он утверждал: подлинное господство закрепляется не в указах, а в словах, не в бюрократических решениях, а в привычках мышления, в спонтанных оценках, в моральных суждениях, которые рождаются не на митингах, а в семье, на улице, в школе. В этом сдвиге акцента — от политики как институции к культуре как структуры повседневности — заключалась не только методология, но и стратегия: освобождение возможно лишь тогда, когда изменяется сама система координат, в которой формулируются желания, страхи, представления о должном и возможном.

Потому личное пробуждение — то самое внутреннее движение, в котором человек начинает сомневаться в прежнем, где мысль впервые выходит за границы усвоенного — становится не просто актом самосознания, а событием политическим. Оно может не быть оформленным, может не иметь языка, но уже в самом этом сомнении содержится зародыш разрыва с господствующей культурой. Когда привычный порядок вещей перестаёт казаться естественным, а собственные решения больше не вписываются в навязанные схемы — тогда начинается подлинное сопротивление, происходящее не в толпе, а в одиночестве, не в протесте, а в молчаливом несогласии с готовыми ролями.

Всё, что рождается в этом состоянии — проект, стиль, форма жизни, — если оно не стремится воспроизвести навязанные шаблоны, уже принадлежит к пространству контргегемонии. Это не обязательно должно быть громким или радикальным: достаточно, чтобы оно исходило из иного источника. Архитектура, отвергающая диктат рынка; искусство, не подчинённое кликубельности; труд, не измеряемый прибылью; стиль, свободный от репродукции трендов — всё это начинает вырабатывать новые ценности. Эти ценности поначалу могут быть неоформленными, разрозненными, но со временем они обретают язык, структуру, ритм — и становится тем, что может оспорить господствующую гегемонию на её же территории.

Контргегемония не создаётся разом и не строится по плану. Она вырастает из множества частных жестов, из жизни, осмысленной по-иному, из внутреннего отказа подчиняться чужому темпу. Когда эти частные формы соединяются — в диалогах, в творчестве, в сети, — они начинают формировать пространство другого воображения, в котором прежнее уже не кажется обязательным. И это не просто культурное отличие, а глубинное политическое напряжение, способное изменить саму структуру того, как воспринимается возможное.

Изменение мира начинается не с приказа и не с переворота, а с медленного, почти неуловимого сдвига того, что общество привыкло считать естественным. Пока старые нормы продолжают казаться единственно возможными, даже самые бурные события обречены возвращаться к прежнему состоянию — потому что внутренняя архитектура сознания остаётся нетронутой. Подлинная трансформация начинается тогда, когда меняется сам воздух, которым дышит мышление: язык, в котором формулируются вопросы; образы, в которых распознаётся будущее; привычки, в которых закрепляется согласие.

Грамши указывал именно туда — в глубину, где рождается культурное основание господства. Он напоминал, что власть удерживается не за счёт силы, а через незаметное внедрение своих представлений в повседневность, через превращение частного в общее, искусенного — в природное, навязанного — в очевидное. А потому и сопротивление начинается не с отказа от мира, а с отказа принимать навязанное за должное. Отказ этот может быть тихим, неоформленным, лишённым символов, но если он порождает новое — образ, слово, жест, практику, — он уже нарушает порядок нормальности.

Меняется ли мир в этот момент? Не сразу. Но начинается

нечто большее, чем протест — начинается работа воображения, способная со временем изменить саму ткань реальности. Когда рождаются новые представления о том, что возможно, что справедливо, что красиво и достойно, — тогда, даже незаметно, закладывается основа иного порядка. И каждый, кто отказывается жить по чужому шаблону, кто творит, мысля вне заданных рамок, кто выстраивает свою жизнь как опыт несогласия — уже участвует в этом медленном, но неотвратимом изменении.

Чтобы изменить мир, недостаточно действовать — нужно сначала изменить то, что считается нормальным. И только тогда действие обретает силу, способную не повторить старое в новой форме, а создать нечто иное, выросшее из иного.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Bates, T. R. (1975). Gramsci and the theory of hegemony. *Journal of the History of Ideas*, 36(2), 351–366.
2. Brown, W. (2015). *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. Zone Books.
3. Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
4. Butler, J. (1997). *The Psychic Life of Power: Theories in Subjection*. Stanford University Press.
5. Crehan, K. (2002). *Gramsci, Culture and Anthropology*. University of California Press.
6. Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.
7. Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Eds. & Trans.). International Publishers.
8. Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University

Press.

9. Schroeder, R. (2020). Social Theory after the Internet: Media, Technology, and Globalization. UCL Press.
10. Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
11. Kriger, B. (2024). Hegemony, normalization, and social change: Reassessing Gramsci's theory in the contemporary political imagination. A critical analysis of normative power, cultural hegemony, and the invisible terrain of social transformation. The Common Sense World.